

Лагерные университеты... и вся жизнь

Интервью с Татьяной Винарской. «Томский вестник», 30.05.1991

Недавно в печати стали появляться материалы о том, как в годы войны из «великой братской семьи народов» были изъяты и отправлены за колючую проволоку многие советские немцы. В систему ГУЛАГа гармонично вписалось еще одно звено — ханжеская смесь концлагеря и трудовой армии, где без суда и следствия отбывали повинность полувоины-полузеки.

Пришлось побывать в таком лагере и томскому ученому, профессору политехнического института Армину Стромбергу.

Армин Генрихович Стромберг более тридцати лет возглавлял кафедру физической и коллоидной химии Томского политехнического института. В 85-м ушел в профессора-консультанта. Научное направление, по которому он в свое время защитил докторскую диссертацию, развилось в проблемную лабораторию и целую школу, «выпустившую» 87 кандидатов и 5 докторов наук, которые работают сегодня в разных уголках страны.

В журнале «Наше наследие» (май 90-го) в интервью академика Бориса Раушенбаха читаю: «У меня были замечательные товарищи по нарам... А.Г. Стромберг — тоже теперь профессор, заведующий кафедрой в Томском университете (здесь Раушенбах допустил неточность)... Нам было о чем поговорить!».

«Нары» как-то плохо вписывались во внешне благополучную судьбу томского ученого, хотелось подробнее узнать об этой странице его жизни, и я решила попросить встречи.

– Армин Генрихович, вы достаточно известный в научной среде человек. Но, думаю, до последнего времени мало кто из коллег догадывался, что и через вашу судьбу прокатился каток ГУЛАГа. Когда и как это произошло?

– В марте 42-го пришла повестка о том, что я мобилизован в ряды РККА. Это было в Свердловске, где я работал в одном НИИ. Явился на сборный пункт и обратил внимание, что кругом все с немецкими фамилиями. Это было подозрительно. Несколько раз нас отпускали, потом вызывали снова. Однажды построили и объявили, что отправляемся в стройотряд. Посадили в поезд, привезли в Нижний Тагил. Шеренгой домаршировали до кирпичного завода. Кругом бараки, колючая проволока. Сразу стало понятно, что это за «стройка» и что мы за «воины».

– **Выходит, ваша «вина» состояла лишь в национальности? Как клеймо: немец — значит, подозрительно. А ведь немецкий народ столько раз доказывал свою преданность России!**

– За свою русскую Родину погиб в 14-м году и мой отец — Генрих Генрихович Стромберг. Слушатель Петербургской военно-медицинской академии, он воевал в Балканской, Русско-японской войнах. Добровольцем ушел и в 1-ю Мировую, хотя оставляли на кафедре. Он был патриот России.

Вообще, моя родословная и по линии матери, и по линии отца, по-видимому, восходит к тем немцам, которых в свое время приглашали Петр I, Екатерина II для оказания помощи в развитии наук и ремесел. Я пытался составить генеалогическое древо своей семьи, но в ожидании ареста все записи пришлось уничтожить.

– **Значит, вы что-то предчувствовали, готовились к аресту?**

– Ощущение опасности появилось во второй половине 30-х. Расскажу такой эпизод из своей личной жизни. В 37-м к нам в институт приехали на стажировку студенты Ленинградского университета. Мне понравилась одна девушка — Лида Попонина. Решился, объяснился. В группе ребята как узнали, что Лида собралась замуж за немца, ужаснулись. В Ленинграде уже тогда шла волна арестов. Отговаривали. Но она не испугалась. Летом 37-го расписались в загсе, без всяких церемоний.

– **Как же вас обошла эта первая «волна»?**

– Я инстинктивно старался не высовываться, не наживать себе врагов. Ощущение незащищенности, уязвимости, какой-то «второсортности» из-за национальности определяло мое поведение. Обстоятельства мне благоприятствовали. До «мобилизации» у меня была низкая зарплата, невысокая должность. С 39-го года, после защиты кандидатской диссертации, я стал старшим научным сотрудником, но продолжал работать один, поэтому никто не написал на меня донос.

Старался быть подальше от политики, замкнулся в своей специальности. Понимал: малейшая неосторожность — и я буду уничтожен.

До немецкого лагеря я был недорослем в политическом отношении. Никогда не был пионером, комсомольцем, членом партии (типичная беспартийная интеллигентная «сволочь»).

После ареста в 37-м физика-теоретика Шубина и собрания в институте, где его сотрудников заставляли каяться в связях с «врагом народа», многие мои коллеги отшатнулись от меня как от прокаженного, как от потенциального врага народа. И я перестал общаться с ними, ходить к ним в гости. До минимума сократил контакты на работе.

Моей отдушиной была семья. Жена, понимая мое уязвимое и шаткое положение, всячески меня поддерживала и давала возможность максимум времени уделять науке и самосовершенствованию. У нас было полное взаимопонимание и взаимное уважение.

Свободное время отдавал музыке, выезжал с семьей за город. И — никаких разговоров на политические темы.

– Бога ради, извините, Армин Генрихович, я понимаю, что «бросаться на баррикады» в то время было бессмысленно. Но и вот так полностью отстраниться от общественных и политических процессов, идущих вокруг, — не похоже ли это на попытку спрятаться в «футляр»?

– Легко сейчас давать оценки и воображать свое героическое поведение в тех обстоятельствах. Понимаете, это был такой жуткий каток, перед которым любая человеческая жизнь оказывалась песчинкой. Страшно было всем — русским, татарам, украинцам... А нам, носящим немецкие фамилии, — вдвойне, мы как будто несли ответственность за фашизм, за Гитлера, за войну. Кого интересовало, что десятки поколений наших родственников жили в России, давно ассимилировались в русском населении и готовы были жизни отдать за русское Отечество?

В начале войны немцев стали выселять в северные районы страны. В декабре 41-го я тоже получил повестку: явиться в милицию с паспортами семьи. Что это означало — было понятно. Помог авторитет, которым пользовалась в городе моя мать, преподаватель химии Уральского политехнического института. Временно меня оставили в покое.

Но, несмотря на ощущение опасности, это все-таки был благополучный этап моей жизни. В марте 42-го он закончился.

– В Тагиллаге НКВД собрали около 6 тысяч немцев. Половина из них погибла от голода, холода, невыносимой физической работы на кирпичном заводе. Об этом писала газета советских немцев «Neues Leben» в октябре 90-го в связи с открытием мемориала жертвам лагеря в Нижнем Тагиле...

– Особенно тяжело пришлось поволжским немцам. Их к тому времени уже переселили в самые заброшенные уголки Казахстана и Сибири. Не успели измученные люди обжиться на новом месте, как снова — в дорогу. Забирали в основном мужчин. В промерзших вагонах для скота везли в лагерь. Тех, кто доехал, не умер в дороге, определяли на самую тяжелую физическую работу. Вот они и гибли в лагере в первую очередь.

В один зимний день, помню, меня назначили в похоронную команду. Приходим в больницу. Стоит грузовик, полный голых скелетов, наваленных как дрова. Мы, сами полуживые, уселись на них. Поехали на кладбище. Кое-как прокопали на полметра мерзлую землю, сбросили в нее трупы, присыпали землей и снегом. Такой вот процесс захоронения...

Голод — вот что было самое страшное. С утра до вечера мысли об одном — где бы достать еды. Знаете, что спасало? Письма. Связь с домом. Хоть этого нас не лишили. Сохранилось 74 моих письма жене. Вначале я рассказывал о том, как пытался в свободное время заниматься самообразованием. Но потом все затмил голод.

– **Раушенбах сравнивает ваш лагерь с Бухенвальдом. Он вспоминает, что однажды так ослаб от голода, что его чуть не уронил порыв ветра.**

– Все помыслы и действия в лагере сводились к тому, чтобы не ослабеть, не заболеть, не попасть в категорию «доходяг». На лагерном рационе прожить было невозможно, особенно в те периоды, когда снижали норму.

Один наш сокамерник — Пауль Рикерт, бывший доктор Берлинского университета, антифашист, уже прошел через гитлеровские лагеря. Бежал в страну коммунизма, а угодил снова в лагерь — сталинский. Так что он имел опыт выживания в условиях голода и делился им с нами. Заставлял жевать «силос» (ботву) — все, в чем есть витамины. И мы жевали, как животные.

Меня спасло то, что быстро перевели из разнорабочих кирпичного завода в «служащие» — сначала в диспетчеры, а потом в контрольные мастера. Адской физической работы я бы не вынес. Во-вторых, выручала картошка, которую удавалось выменивать у местных жителей, выкапывать из-под снега на убранных полях. Выходить за пределы лагеря запрещалось, но мы рисковали.

Знаете, неловко признаваться, но у меня с тех пор какой-то органический страх остаться без еды. Если вижу, что дома мало хлеба, беру авоську и иду в булочную. Я очень стыдился этого своего страха, а недавно перечел «Ивана Денисовича» и там — главная тема — поиски пищи.

– **Интересно, о чем вы разговаривали со своими сокамерниками в свободное время?**

– В лагере я тоже старался как можно меньше контактировать с окружающими. Общался в основном с тремя соседями по комнате: Раушенбахом, Фридрихсенем, Рикертом. И то — я им рассказывал минимум о себе, они — минимум о себе. Говорили в основном о том, как достать еду, одежду, как жили до войны. И никогда — о политике.

– **Как и когда вам удалось освободиться?**

– За меня постоянно хлопотала мать. Она писала Калинин. Подобных писем он получал десятки тысяч, но, видно, у меня счастливая судьба: в бюрократической машине сработала какая-то случайность, и на просьбу матери последовала положительная реакция. Через полтора года меня освободили. Событие совершенно невероятное, потому что остальным пришлось отбывать срок до конца войны, а потом их оставили в ссылке до 53-го года.

– **И как дальше складывалась ваша судьба? Были ли какие-то сложности из-за лагеря, национальности?**

– Во время войны я понял, что как немец остаюсь человеком второго сорта и поэтому должен быть на голову выше своих коллег, чтобы меня не затоптали. Работал не покладая рук, отказываясь от удовольствий. Старался не расслабляться. Все время находился в слегка стрессовом состоянии. Никогда не носил домашние халаты. Никогда не сидел в мягких креслах, не читал в постели или лежа на диване.

После войны понял, что если останусь кандидатом наук, то затопчут. Только когда буду доктором наук среди кандидатов, то смогу удержаться «на плаву». Особенно это



стало мне ясно, когда меня изгнали из научного академического института в 50-м году. В связи с переходом из института в университет (еще в Свердловске) мне пришлось осваивать два курса лекций, лабораторные и учебные занятия, вести несколько дипломников. Ректор обязал меня поступить на трехгодичный курс вечернего университета марксизма-ленинизма. Но я, сжав губы, говорил себе: «Ты — немец, ты — немец, ты должен быть доктором наук». И в 51-м году, не имея никакого творческого отпуска, дописал значительную часть докторской диссертации и защитил ее.

– **Как вы оказались в Томске?**

– Никто не хотел верить, что в Томск я приехал добровольно, а не в ссылку. Ведь почти все немцы здесь были ссыльные.

Произошло все следующим образом. В Москве, в министерстве, я случайно встретился с тогдашним ректором ТПИ А.А. Воробьевым, и он меня пригласил на работу.

В 56-м году приехал в Томск. Здесь моя научная судьба сложилась удачно.

– **А ваши товарищи по несчастью? Поддерживаете ли вы с ними отношения?**

– После выхода из лагеря я полностью порвал взаимоотношения с бывшими солагерниками. С 43-го по 50-й год против своего желания оказался заведующим лабораторией Института химии и металлургии УФАН, которая проводила архисекретные работы. И я понимал, как это опасно для меня, если узнают о моих связях с бывшими солагерниками-немцами.

С Риккертом переписка началась в 70-м году, но вскоре он умер. Его личная жизнь сложилась очень драматично.

Фридрихсена разыскал в 90-м году. После ссылки он остался на Урале, работал учителем.

Раушенбаха нашел в 70-х годах через редакцию издательства «Книга». Он стал академиком, ближайшим сотрудником С. Королева, за создание космических аппаратов удостоен Ленинской премии.

– **Нет ли у вас обиды, горечи от того, что пришлось пройти через лагерные «университеты», что целый кусок из жизни вычеркнут так безжалостно и жестоко?**

– Я философски смотрю на жизнь. Стараюсь всегда, в любой ситуации внушить себе, что могло быть хуже. Хотя более страшного периода, чем лагерь в моей жизни не было.

– **Из разговора с вами у меня сложилось впечатление, что, несмотря на лагерь и многочисленные трудности, вы довольны своей судьбой.**

– Вопреки обстоятельствам и системе, моя судьба сложилась достаточно удачно. Но это скорее исключение, чем правило. У большинства советских немцев она была трагичной.

...Недавно Стромберг съездил в Нижний Тагил, побывал на развалинах кирпичного завода. Там вместе с солагерником Фридрихсеном сфотографировался на память. Знаете, что меня потрясло на этом снимке?

Фон. Нет, не развалины лагеря. Плакат, на котором изображены бодренькие люди со счастливыми улыбками и печатью уверенности в завтрашнем дне на лицах. И надпись: «Народ и партия — едины». Привычно-циничный текст не дает забыть: народ и партия, как белое и черное, как единство и борьба противоположностей, крепко связаны друг с другом. Хоть и находятся по разные стороны колючей проволоки.

